

СУКА-СКУКА

– Слышь, помнишь ту деваху, с которой на Бугаз ездили?

– Полячку?

– Ну.

– Да-да, припоминаю, – и в предчувствии жалостливой истории, быстро прошу обратить внимание на дороговизну пива.

– Ну... Ну, короче, я с ней вчера того.

Нет, положительно все люди – уморы. Все без исключения. А я – король *умор* (да здравствует король).

– Того? Ну, что ж. Мои искренние поздравления.

– Да, но она, типа, замужем...

– Но это досадное недоразумение вряд ли помешало вам получить удовольствие, не так ли?

– Ну, как... она-то точно получила, а я, вот... Знаешь, как бывает: выложишься весь, а ничего не получается.

Нет, я не знаю, как это бывает. Я, конечно, за откровенные разговоры и слезы в подушку, но всё имеет свои пределы. Почему именно я должен убеждать Мигеля в том, что это нормально, если это ненормально, и я даже искренне рад тому, что он наконец-то прекратит шевелить губами и бормотать непостижимые ему польские слова – с надеждой на вечную любовь и уезд за границу?!

То ли дело я! Свалить отсюда как можно скорей я заслужил гораздо больше: воспитан, хорош собой, достоинства яркие, недостатки терпимые. Образование высшее (в процессе), возраст замечательный (19), каждый прожитый день придает уверенности в себе. Возможно всё: в случайных разговорах, интернет-форумах или, скажем, объявлении для знакомств ты в праве быть тем, кем захочешь, – прокат масок открыт. Я добрый, я злой. Я сволочь, я великодушный и верный друг. Я страстный, я фригиден. Я талантлив, я бездарь. Я твоя заветная мечта, я страшнее угольщика из детских кошмаров. Я существую, меня нет. Свободное время провожу в окружении немецких овчарок и лошадей.

Тактичный поклон – и номер телефона (с 19.00 до 22.30 – когда самое оно!).

Отправляя свое описание в космос, я вновь становлюсь неприятным себе, словно признаюсь в слабости, что у меня могут быть такие же потребности, как и у других. А потому стремлюсь забыться, уйду в экспедицию за пивом и по дороге натыкаюсь на знакомого, он, неудачник с испанскими корнями, навсегда застрял, как волоконец между зубами, в нашем солнечном городе, пропахшем вареной курицей и общественными туалетами, – так вот, Мигель увлекает меня на пляж загорать и мучает хроникой своих сексуальных походов. В результате, я обгораю. Всё к худшему в этом худшем из миров...

И это только начало, ведь позже выясняется, что наборщик допустил опечатку – и мой возраст вместо «19» обозначен в газетном объявлении как «91». Недоразумение приводит к тому, что меня приглашают на свидание сразу несколько, и странным образом я оказываюсь в полуподвальном сумрачном кафе, где унижен и раздавлен уже самим осознанием того, что целый вечер мне предстоит провести в обществе трех весьма эмоциональных старушенций. Словно нашли нужное заклинание и с гиканьем спрыгнули с пыльных страниц, эти ведьмы весело болтают со мной за столом и, когда полагают, что не

слышу, шепотом, склонившись друг к другу, обсуждают мою внешность – щупленький только он очень, а хотелось бы, чтобы можно было почувствовать, когда тебя обнимают.

– Итальянец, милочка моя, классический итальянец.

– Да ну?

– Серьезно тебе говорю! Смешной народ – взял, нашел себе нашу на голову, а она его бросила. С тех пор ходит каждый раз к нам как на работу. Всё дразнит, что ему пятьдесят, ну-ну...

– А она?

– А что она? Пышная такая брюнеточка, уже там, наверно, обручилась с кем-нибудь, нынче это легко... Страсти прямо-таки по Шекспиру.

Тут им кажется, что на последних словах я вздрогнул, но нет, то скорее мои конвульсии.

– Не знаю, Шекспира я не читала, но вот ты как начала рассказывать, я сразу подумала – это точь-в-точь как в «Сердце знает все секреты»! Как раз смотрю – такой хороший сериал, очень переживательный. Там аж больше ста серий, а ты всё смотришь и думаешь, что там дальше? И про любовь, и всё думаешь, где бы такую любовь встретить.

Старушки жадно облизываются в мою сторону. Я пытаюсь поймать взгляд официанта, а, на самом деле, ловлю самого себя – на мысли, что меня тоже никто не любит, никто не замечает... слушай, а ты ненароком не умер? Было бы обидно. И полностью вразрез с планами, ведь я уже который раз передоговариваюсь о пересдаче экзаменов.

– Ах, милочка, всё это собирательные образы.

– Нет-нет, там такие вещи показаны – я такие тоже видела! Всё как в жизни: страсти всякие и про смерть... А Вы смотрели «Сердце знает все секреты»?

Морщинистые лица вновь обращаются ко мне с любопытством. Сказать, что я болен сифилисом? А вдруг это их еще больше возбудит?

– Вот как ты, блин, сказал, так и случилось. Всё именно так.

Что – случилось? Где я, кто... Жара, пляж, дыхание умирающего моря – я опять задремал, что немудрено.

– Мигель, чего ты там только что?..

– С полячками нельзя связываться.

Совершенно не помню, чтобы я когда-либо заявлял подобное. Хотя...

– Ты бы слышал, что она после этого мне наговорила! Я ж хотел, я ж старался, это ж не моя вина... Или? А вдруг у меня вообще больше никогда не встанет? Вот зачем она так?! И, знаешь, я стал в последнее время замечать, что она косит, ну, глазом, чуток, но всё равно...

Не выдержав, я прерываю его исповедь:

– Мигель, к чему старушки снятся?

– Не знаю, я ничего не знаю, – печально качает он головой. – Кажется, к дождю...

– Нет, к дождю – это покойники.

До нас доносятся вопли чаек и детей, хриплые радио-шансоны, рекламные лозунги продавщиц семечек и мороженого – и в один момент прямо над моим ухом раздается глухой выстрел. Я смахиваю капустный лист со своего лица и, поскольку наступила моя очередь, отбираю у Мигеля пневматическое ружье, которое он обычно, сродни герою Родригеса, таскает по городу в футляре из-под гитары. А что делать? Время такое: мир

захлебнулся в подсолнечном масле июня; к Земле несется очередная комета, сулящая очередной конец света; мы валяемся на утесе недалеко от покосившейся вышки спасателей, артефакта из советских времен, а там внизу, рассекая мутную толщу воды, Ефим Маркович, другой такой же артефакт, учащенно фыркает и слепит находящимися в движении лопатками. Какое-то время я наблюдаю за ним через прицел, но потом возвращаюсь к безмятежным воробьям, позарившимся на хлебные крошки.

– Блин, хрень какая-то, даже не знаю, что с ней делать... – не затыкается мой спутник. – По ходу, я реально лажаю, да?

Ну, и кто он после этого? У-мо-ра.

– Да, Мигель, ты реально лажаешь. Это же позор. Слухи пойдут. Девушки за твоей спиной будут шушукаться и показывать на тебя своими хорошенькими пальчиками. Ты пропащий человек, Мигель.

Пропащий человек смотрит на меня с невыразимой скорбью в глазах:

– И что теперь?

– Ах, дорогой, я тебя умоляю! Одним позором больше, одним меньше. Вот я как-то я с Ефимом Марковичем по пьяни целовался. И ничего – выжил... А ведь были свидетели.

– Чегооо? – разевает рот Мигель.

Кивнув, я рассказываю подробности. И всё было бы чудно и очень даже занимательно, если бы не один маленький нюанс – ничего такого у меня не случилось. Ни с Ефимом Марковичем, ни с другими мужчинами. Это всего лишь игра, моя игра, она начинается без предупреждения и объявления правил; на этой территории хозяин я, и мне решать, кто будет в ней участвовать, а потому здесь не может быть союзников, только я и мой соперник-собеседник. Никто ведь и не догадывается, что все эти маленькие истории – лишь вымысел! Просто чистой воды импровизация, мой странный джаз, ложь незатейливая, но похожая на жизнь, так же как и наша жизнь лишь похожа на саму себя. Хобби? Пускай будет «хобби». Никаких оправданий и призов в игре нет – мне достаточно, если кто поверит, что это возможно. А раз верят – значит, это правда. Ведь я позволяю своему воображению всего лишь слегка раскрасить эту летаргическую реальность, добавить чуть-чуть интриги. Мне, наверно, стоит стать журналистом?

Мигель верит, хотя сегодня хочет говорить исключительно о себе:

– И, знаешь, я же когда в самом начале с ней замутил, то это ведь как-то по-доброму было. Мы сосались, все дела, но без секса же, что-то новое такое, понимаешь? А теперь всё иначе – ну, во-первых, резко выясняется, что у нее муж в Польше, это раз. Потом, даже сегодня утром мы, типа, бежим по улице, она на работу, я на лекцию, а она носик так пальцами зажимает и предъявляет: «Коханы, ты шмерджышь». Прикинь?! Это вот что? Как? Как это она себе представляет – что я дезодорант из рукава достану, или что?!

– Мигель, – с трудом разжимаю я зубы, – ты и в самом деле воняешь.

– Да? Ну, не важно, не в том суть. Не, я когда рассказываю, то непонятно выходит, но там действительно мрачный напруг, слишком много всего, мелочей всяких, я даже не запомнил...

– Бабы, что с них возьмешь. Именно они в ответе за бремя всех наших страданий и комплексов.

– Да я ее сегодня вообще убить был готов, честное слово!

– Вот и убей, – говорю я и стреляю. Воробей удивленно подпрыгивает на месте, и его голова отлетает в сторону.

– Да? А потом что?

– А потом, – бормочу я, – суп с котом...

Я вовсе не дурачок, придумывающий небылицы с целью обладания достаточно мощного оружия – приятного мнения о себе в обществе. Нет, я получаю удовольствие от абсолютной бессмысленности, от чистоты абсурда самой игры, легкой как тень, липкой как пальчики, жестокой и волшебной. Творец, поэт в своем роде, жадной губкой всасывающий всё чужое, лично не пережитое, но слышанное или подсмотренное (я и впрямь видел, видел, как Е. М. целовался с неким юношей за мусорными баками), стою перед вами, жонглирую правдой, варьирую факты, ломаю логические связи, намекаю, увлекаю, и вот – мутабор! – на свет извлекаются пестрые драконы платков, заспанные кролики и часы господина из первого ряда – и вы видите их только потому, что поверили в их существование... Разумеется, случались мелкие неудачи, когда порою, на долю секунды, а то и больше, терял доверие собеседника, особенно при затянувшихся рассказах, например, о чашечке кофе с Тимом Ротом во время съемок в порту, или о грандиозном проекте с воздушными змеями, якобы осуществленным где-то в деревне, или о поездке в Париж, однако подобные переживания лишь добавляют остроты ситуациям, ведь если бы не было опасности оказаться на скамье записных лузеров, к чему тогда вообще играть?!

Тут на краю утеса появляется голова Ефима Марковича – мокрый, с оцарапанной в кровь щекой, с ожерельем сопли от носа к верхней губе, он выглядит победителем

– Только чур – ему ни звука, – как можно более небрежно бросаю я в сторону. – Он был тогда так пьян, что, к счастью, ничего не помнит.

– Ну, что же вы? – весело негодует старший собутыльник, взбираясь к нам и поправляя свои небесно-синие плавки. – Я вас звал, звал...

Мы пожимаем плечами. И, щурясь, разглядываем, как с седых кудряшек на груди поэта капает Черное море.

– Скучно с вами, господа...

Ефим Маркович показывает на меня пальцем:

– А ты как спящая царевна. Пошли тебя будить.

– Поцелуем? – не выдерживает Мигель распирающей его «тайны».

– Это как пойдет, – подмигивает Ефим Маркович, прыгая на одной ноге, а другой пытаюсь попасть в штанину. Потом он замирает, его взгляд устремляется вдаль: – Я вижу... смутные очертания... это знак!

– Мы все во внимании, – отзываюсь я.

– Высокий блондинистый эльф с утонченной душой.

– Нет, к Арсению мы не пойдем.

– Почему?!

– Не хочу вдаваться в детали, – уклончиво говорю я, – но пару дней назад мы пересеклись с ним в бильярдной и там...

– Да когда ж ты успел? Он только сегодня из Питера вернулся.

– Seriously? – лениво удивляюсь я.

– Seriously, – отвечает Ефим Маркович.

В итоге, мы идем к Арсению.

Озверевшие от предгрозового зноя, мы плывем переулками, минуя стаю мирно спящих бродячих собак, обсуждая зависимость блудливости от цвета волос, попросту убивая время – от одного повода выпить до другого. По пути мы останавливаемся у ларька, и Ефим Маркович покупает две бутылки вина, поскольку у меня как всегда нет денег, а Мигель со своим футляром где-то уже успел потеряться. Когда же мы наконец добираемся до дачи, то первым делом видим во дворе жену Горьковского, директора театра, как раз пребывающего на гастролях.

– Я обознался, – испуганно шепчет Ефим Маркович. – В видении был не эльф. Это был кто-то коренастый и с рыжей бородой.

Но бежать уже поздно – жена Горьковского нас заметила. В необъятном багряном балахоне, она нам совершенно не рада, однако гостеприимно всплескивает руками, отчего вся ее одежда ходит ходуном и разбегается волнами. Она жена Горьковского и по совместительству любовница Арсения – и боюсь, на этом список ее положительных качеств исчерпан. Мы обмениваемся приветственными пошлостями, а вслед за ней, выныривая из-под таблички «Потусторонним вход воспрещен», из прохладного полумрака веранды возникает Арсений, сам не менее потусторонний персонаж, снисходительно улыбающийся, плавный во всех движениях, флегматичный точно кастрированный кот.

– Оцените мой новый шедевр! – жена Горьковского гордо обращает наше внимание на облачение Арсения, своего любимого манекена. И мы восхищенно цокаем языками, осматривая синее кимоно с нашитыми желтыми звездами.

– За два дня сшила. Это из портьер французского театра пантомимы, они всё равно разорились.

– Я считаю, это прекрасно, – кивает Ефим Маркович, поспешно открывая бутылку и оглядываясь в поисках стаканчиков. – И сочетание цвета очень актуальное. Только одного не пойму: почему шестиконечная звезда всего одна и та – на попе?

Арсений бледнеет и стремительно удаляется – чтобы вновь переодеться.

Где-то в кустах смородины пищат котятка; посреди двора, под старым прогнившим дубом, калачом свернулся недостроенный фонтан – в пробелах фантазии как недосмотренный сон: монеты, ракушки, оловянные солдатики и керамические черепки, в каплях краски и солнца, захваченные в плен бетона словно лавой вулкана, а на вершине бесстыдно веселится, блестя глазами, фигурка Ганеши. Дача уже некоторое время назад превратилась в цитадель богемных циников и декадентов, прибежище творческих и околотворческих алкоголиков и студентов без будущего. Даже я умудрился однажды участвовать в местной художественной акции (картины сомнительного содержания были развешаны по деревьям и забору), которая, правда, очень быстро приобрела совсем иной характер, превратившись в некое боди-арт-шоу с факельным шествием по переулкам Аркадии и вызовом милиции. И навсегда ушла в легенды история о том, как я, раскрашенный, избежавший цепких рук, спал в одних джинсах на холодном песке пляжа под протяжный вой туманной сирены, а утром сердобольная старушка с собачкой подарила мне – что? – кажется, розу, кажется, я тогда объявил, что это был старичок, хотя, на самом деле, дрожал до рассвета в каком-то сарае среди битых цветочных горшков и тихо вздрагивал от шагов собственного сердца...

Тем временем жена Горьковского уже кому-то звонит, зовет в гости, мы выносим во двор стол и раскидываем по траве подушки, а Арсений мурлычет и изобретает салаты из всего, что находит в холодильнике. Соседи, с опаской наблюдая за нашими

приготовлениями, откладывают мятые газеты и уходят со своих скрипучих раскладушек прочь – они чувствуют, они всегда чувствуют приближение вечеринки с громкой музыкой. Негодующий шелест их потрескавшихся губ отчетливей шума недалекого морского прибоя.

– А «Алые лепестки судьбы» Вы смотрели? Тоже очень хороший сериал...

– Что? – я оборачиваюсь, но тут уже голоса у калитки, хохот, народ прибывает, сползается на зов, будто нечисть в ночь на Ивана Купалу. Причем, каждый проходящий считает свои долгом принести еще больше алкоголя, и лица знакомых и незнакомых перепутаны, перемешаны как колода карт, и многие из них станут в моих воспоминаниях одним целым, потому что мне лень их различать. Так, некто Зыбин в ковбойской шляпе гоняется по двору за своей новой – или будущей? – пассией, та смеется и обливает его пивом, а Кука по-хозяйски оглядывает множась батареи бутылок и ухмыляется в предвкушении:

– Как же мне будет плохо...

Кто-то слабо протестует:

– Ребята, у меня завтра обход!

– У всех обход, – убеждает Ефим Маркович, сворачивая шею бутылке. – За что пьем?

За то, чтобы я хоть что-нибудь запомнил, – пустой день, пустой вечер, впрочем, как и все предыдущие.

– Первый тост, конечно же, за прекрасных присутствующих здесь дам!

– Что за дискриминация? – вставляет свои пять копеек жена Горьковского. – То есть, за уродливых присутствующих здесь дам, стало быть, не пьем?!

Сумерки, смех, звон бокалов, люди-массовка, люди-интерьер, приходят и уходят, ну, разве жизнь не прекрасна? Ах-ах, девчонки, я и не припомню жарыщи-то такой, сахарные арбузы лопаются от одного прикосновения, сок стекает по рукам и подбородку, у Куки несколько косточек притаились на остаток вечера в его рыжей бороде – водка, пиво, вино и снова водка, что ж, отличное название для нового фильма Ким Ки Дука! Кука, а ты, случаем, не родственник? Кука-ким-ки-дука, вот как! Сидим вместе, тесно сдвинув головы, тяжело дыша, травим новые анекдоты про политику, курим, пьем, закусываем и с одобрением разглядываем друг друга мутными глазами. Квадраты на скатерти расплзаются, во рту горчит, мы любим и ненавидим весь мир, да куда ж ты смотришь, придурок, опять пепельницу перевернул, пятно-то точно не отмоешь, а ты его солью, солью присыпь, так, а чей сейчас ход? стоп, а во что мы вообще играем? я думал – в покер... Ты, главное, не тормози, косяк дальше передавай.

– После того, как ногу сломал, креатив ведь так и прёт! Просто голова пухнет. Вот сегодня, например, осенило: буду на больших холстах штрихкоды рисовать, разные, маслом, – это будет мой ответ на девальвацию живописи и коммерциализацию искусства в целом!.. Что? Уже есть такое?! Млин, плагиатят еще до того, как успеваешь придумать...

Каждый хочет быть хоть сколько-нибудь интересным, я тоже по ходу дела «признаюсь» в том, как с криком «Не бойся, Маша, я Дубровский» набросился на трансвестита, с париком которого еще долго бегал по палубе (позже меня якобы видели в спасательной шляпке, по одной из версий, мирно спящим в обнимку с добычей), и краем

глаза подмечаю, что девушка Зыбина вроде вовсе и не девушка Зыбина, а сидит неподалеку и меня внимательно слушает.

Быстро темнеет, да и мошकारа действует на нервы, и потому большинство перемещается в дом. Там мы еще больше пьем, сидим, лежим, танцуем так, что со шкафа сваливается коробка с дореволюционными открытками, и запальчиво, гомоня, обсуждаем Сартра, Гарри Поттера и проблемы с аденоидами. Маленький деревянный человечек без лица, на шарнирах и с копытцами вместо конечностей, пущен по кругу, и каждый пытается придать ему наиболее пошлую позу, милые шалости, повод для поцелуя – интересно, как целуются куклы? наверно, с тихим сухим стуком. Когда очередь доходит до меня, он уже потерял всякое человеческое подобие, жалкий, с масляным отпечатком пальца на груди, с выкрученными наизнанку ногами и руками – а *так* он может? ой, а давайте ему мордочку нарисуем, забавно будет? не надо... – и я тоже не удерживаюсь от удовольствия поизмываться. Димон играет на аккордеоне; жена Горьковского, как всегда после второй бутылки, начинает на всех обижаться; Кука оглушительно чихает, после чего фраза «Дайте Куке сникерса!» становится хитом вечера и припевом импровизируемой хором песни. Затем аккордеон оказывается в руках Ефима Марковича, только почему-то у того, как он ни старается, каждый шлягер звучит как «Хава нагила». Я тихо слепну, глядя в ночь; челюсть сводит внезапной зевотой; слышно, как мама-инвалид, обитающая на чердаке и которую почти никто не видел, сколупывает с подоконника засохший голубиный помёт, – и через определенные промежутки времени, наполненные характерными шкрябающими звуками, мимо окна что-то падает в сад.

– Да когда же он подойдет, этот официант? Ах, ну, в самом деле, милочки мои, мы же не можем ждать здесь вечно, мы можем пойти и в другое кафе... – я вздрагиваю и убеждаюсь, что наваждение прошло, и рядом нет никого, кто бы мог это сказать. И всё же кто-то тихо, кошачьей поступью, приближается ко мне сзади, очищая апельсин, чей удивительно сильный запах пробивается сквозь марихуанный дым и щекочет на мгновенье мой нос.

– А меня Вероникой зовут, – лукаво улыбается девушка. – Хочешь дольку?

– У меня в одном рассказе была девушка по имени Вероника.

– Правда? И что она там у тебя делала?

– Плакала, – выдаю я неожиданно для самого себя.

Может, мне и вправду начать писать? Впрочем, я слишком ленив для подобного занятия. Что толку в стихах и романах, вызванных весенним томлением в груди? Обрывки будут служить закладками для Маркеса, остальное пожухнет, растеряется. Нет, гораздо интересней создавать лабиринт зеркал, серию собственных отражений в реальной жизни, чтобы какая-нибудь байка или даже фраза, точно рекламный слоган, вспомнилась спустя время, вызвала усмешку и была пересказана дальше. Вот тогда ты жив, тогда ты – легендарная личность! Как, например, эти двое, Зыбин и Кука, что, намагниченные злобой, подчиняясь негласному закону подобных мероприятий, вдруг сцепляются мертвой хваткой и, клокая матом, кружатся по коридору, валяясь на пол, увлекая за собой и подоспевшую жену Горьковского, и вешалку, с облегчением скидывающую ворох одежды на дерущихся. Зыбин с мокрым и пылающим лицом поспешно ретируется, а Кука, показывая пальцем в окно на растворяющуюся в темноте спину, торжествует и сплевывает через каждое слово – из-за набившейся в рот шерсти с костюма панды:

– Нет, ты представляешь, тьфу, вы слышали, а? Тьфу, что за мерзость... Вы слышали?!

Пока вся компания замолкает в предвкушении потешных объяснений, поскольку никто в их предыдущую беседу не вникал, – я с удовлетворением наблюдаю крайне меланхоличную реакцию Вероники на бегство Зыбина. Кука же, озираясь, осознает, что привлек максимально возможное внимание, и хмуро заявляет:

– А теперь я стриптиз танцевать буду.

Он решительно расчищает стол от бутылок и прочей снеди, выбирает подходящую музыку, раскидывая диски в разные стороны, и как-то пакостно улыбается, поддерживаемый одобрительными выкриками – *давай, Кука, давай, покажи нам свой сникерс* – и аплодисментами, медленно угасающими – в опасении, что эта рыжебородая детина действительно разденется. Тогда для «создания романтической обстановки» Арсений, уже в гриме японской гейши, накидывает на лампу легкую розовую ткань, и вместе с качнувшимся светом качнулась и комната, расплывается розовым маревом, разбудив тени по углам, и чья-то сестра, усмотренная мною в зеркале, зажав рот платком, испуганно убегает на веранду. И всё-таки Кука быстро устаёт, теряет интерес к окружающим и соглашается разве что в честь пострадавшей жены Горьковского продемонстрировать свою коронную стойку на голове (из карманов звонким дождем сыпятся мелочь, ключи и деревянные талисманчики).

Жена Горьковского наблюдает за этим перформансом с тахты, лежа головой на коленях Арсения, прижимающего мокрое полотенце к ее лбу.

– У меня всё равно такое ощущение, будто мне здесь не доверяют, – упрямо бормочет она. И уже почти уснув, переходит на едва слышный шепот: – Ну, почему мы каждый раз так сильно напиваемся, а... не надо... так...

Арсений гладит ее по голове, затем делает из салфетки цветок и вставляет ей в волосы. Когда-то он завязал с ней роман в надежде, что это поможет ему с ролями в театре ее мужа, однако это не помогло: холеный мальчик с нежной кожей, когда на репетиции надо было засмеяться, он заплакал. А нынче он – притча во языцех, щеголяет в странных лоскутных одеждах, сшитых для него женой Горьковского, и подрабатывает натурщиком в художественном училище.

Он поднимает свой ясный взгляд на меня:

– Она смешная... И всё равно, мне почему-то кажется, что мы сейчас переживаем лучшие моменты нашей жизни.

Мы с Вероникой переглядываемся – эта мысль нас обоих явно не устраивает.

Преследуемые подпрыгивающей музыкой, мы устремляемся вдвоем по лестнице на чердак, и Ефим Маркович, хитро ухмыляясь нам вслед, делает в воздухе рукой какое-то неловкое движение, которое, судя по всему, должно символизировать благословение. Вероника ловко ускользает от меня и якобы не замечает моей пьяной качки от стены к стене. Как в законе умножения несколько отрицательных чисел приводят к одному положительному, так и сочетание ее некрасивостей (слишком далеко друг от друга посаженные глаза, по-заячьи большие передние зубы) в результате придает ее лицу нечто такое, что в литературе принято описывать как «определенное очарование». Но в данную минуту я гораздо больше сосредоточен на том, как буду стягивать с нее эту тельняшку, с узкими джинсами явно придется повозиться, совсем худенькая, на вид лет пятнадцать, а говорит, что восемнадцать... Специально упомянула, чтобы не сдерживала обманчивая

внешность, или солгала? Да какая разница, мой ангел с кривыми зубами, – в старости ты наверняка будешь некрасивой, так давай поторопимся! сколько там еще метров до кровати?

Так день на поверку оказался не таким уж и скучным, его просто надо было пережить: утром, в припадке одиночества, отослал объявление для рубрики «Знакомства», а вечером уже познакомился сам. Теперь продвигаемся почти на ощупь по коридору, темному, низкому, завешанному штурвалами и засушенными русалками, аккуратно перешагиваем нотные листы и училищные шпалеры, опасаясь ошибиться дверью, чтобы ни в коем случае не натолкнуться на родительницу Арсения (вот уж, наверно, от такого зрелища станет невыносимо – полулежит, должно быть, в белоснежной ночной рубашке, желает чаю и в ожидании сына медленно расчесывает длинные седые волосы, незаметно для меня приобретаая вес, уплотняясь, становясь маленьким анекдотом про запас). Коридор, резко свернув, больно бьет тумбочкой о колено и буквально вталкивает меня в приоткрытую дверь, я догоняю себя, заглядываю, замираю – притаились тут, молча манят за собой, три старушки под окном пряли поздно вечером, – э нет, милые, не сейчас, слишком рано, – и упоительный голос Вероники за спиной: ты *это* хотел показать? Испугавшись, фигуры мгновенно съеживаются, одна опрокидывается, другая вскидывает как по команде руки, и плод лунного света и моей хмельной близорукости, претерпев метаморфозы, оказывается ворохом театральных одеяний и полуразобранных манекенов. Ноги, головы, сомбреро и блестящие эполеты мундиров.

– Может, свет включить?

– Не, так страшнее...

Девушка привстает на цыпочки, прижимается мягкой щекой к моей щеке, от нее кислоовато пахнет потом и еще чем-то пряным, я внимаю ее дыханию и суетливым прикосновениям рук. Ее губы отвечают моим губам с веселой готовностью, так, будто происходящее является продолжением нам одним ведомой шутки, – и мы как-то бесконечно долго падаем на кучу тряпья, в которой барахтаемся, хихикаем и раздеваем друг друга. Мы задыхаемся от этого временного помешательства, от лета, близости, нашей юности и боязни взросления, я и впрямь слишком долго борюсь с ее узкими джинсами, чтобы не сделать ей больно, и в плену объятий уже зреет неясная сказка, которую поведаю ей позже, в благодарность, что ли, как много лет назад потерял девственность, допустим, с беременной учительницей химии... тем временем ее рука скользит к сокровенному, и я уже предчувствую дивное блаженство, когда в опустевшие легкие с шумом ворвется воздух, заставляя меня прожить еще несколько дней...

– Вижу, что помешал.

Вероника вмиг сворачивается как улитка, прячется в складках серебристого шелка, отодвигается от меня – и кажется, что – на край света:

– Это твой друг?

Я оглядываюсь на силуэт, колеблющийся в дверях, – узнаю его только по голосу.

– Мигель, иди в жопу...

– Мне надо с тобой перетереть, – непривычно сухо отзывается он.

– Пойди выпей чего-нибудь, потом, потом...

– Это срочно.

– Он твой друг? – как-то странно повторяет Вероника.

Одной рукой придерживая спадающие штаны, другой – выталкивая Мигеля и прикрывая за собой дверь, я злобно рычу:

– Ты вконец охренел?! Хочешь, чтоб у меня тоже никогда не вставал?

Полностью игнорируя мои слова, он выпаливает чересчур четко и звонко, будто пионерскую клятву:

– Вадим, а я ее убил.

– Кого?

Пока в поисках выключателя я шлепаю ладонью по теплой и липкой стене, Мигель покачивается и разводит руками, потом снова сводит, сцепляет пальцы и нервно хрустит костяшками, точно знает, насколько это меня раздражает.

– Полячку, ну, ты помнишь? С которой на Бугаз ездили.

– Что значит – убил? Мигель, выражайся конкретнее – вы опять поссорились?

– Ну да. А теперь она здесь.

В это мгновение, с тяжестью океанской волны, на нас рушится ослепляющий металлический свет, не просто сверху, а из всех щелей, – то мои пальцы, потерявшие в лихорадке чувство осязания, наконец-то обнаружили выключатель. Мигель жмурится, втянув голову в плечи, но продолжает раскачиваться – и показывать на стоящий рядом чемодан.

– Где – здесь? Внизу, с остальными?

– Нет, здесь. В чемодане.

Большой чемодан, какого-то картофельного цвета, с черной потертой ручкой. Шрам на боку. Безучастный взгляд двух замков и довесок миниатюрных ключей.

– Ты что, дурак?!

– А что мне оставалось делать? Вадим, она мне изменяла, сама призналась. Вот я ее того, из пневматики...

– Того? – растерянно повторяю я.

– Ну, да. Ты же мне сам сказал.

Амплитуда его колебаний увеличивается, да и сам он разрастается-раздается вширь и душным облаком заполняет коридор, надвигается на меня, так что ни продохнуть, ни проморгаться.

– Что сказал? – шепчу.

– Ну, ты ж рассказывал про родственника вашего дальнего, что, типа, вся семья подозревает, что жена его вовсе не сбежала, – ну, вспоминай? Типа, он неслучайно вашей лодкой тогда воспользовался...

Я едва выдавливаю из себя:

– Мигель, ты больной!

– Она. Мне. Изменяла, – почти обидчиво настаивает он.

– Да ты окончательно рехнулся! Она же замужем была?!

– Да не, блин, она не только с мужем, а еще и на работе. Типа, она вчера разочаровалась со мной, вот и «наверстала» сегодня, в обеденный перерыв с коллегами, – сама так сказала.

– Псих, больной, это же не повод, чтобы... чтобы...

Всё не то, не так, надо как-то по-другому, чтобы мы оба сразу опомнились – и ситуация разрешилась сама собой. Но я почему-то плохо соображаю и не в состоянии найти правильные слова... А что говорят в таких случаях? Что он вообще рассчитывал

найти у меня – сочувствие, поддержку? Я обеими руками хватаюсь за воротник его куртки, словно он собирается ускользнуть, как ускользает между пальцев моя комфортная реальность.

– Да-да, – продолжает он, – истерику мне закатила, курва такая, типа, я снова пьян, стала на пол плевать, пока ружье в руках не заметила... И я думаю – ты был прав, стопудово прав, взять и убить, зачем я себя мучаю, скажи, ради чего? И, знаешь, такая сразу расслабуха навалилась, ты не поверишь...

– Придурок! Ты зачем сюда приперся?! С чемоданом! Тебе чего от меня надо?

– А! – он вроде вспоминает. – Не, я по поводу твоей лодки. Ну, в море сходим, чтоб от груза, того, избавиться...

Вот оно что.

– Нет у меня лодки, Мигель, – говорю я. – И никогда не было.

Вяло улыбаясь, качаю головой и отпускаю его воротник.

– Как – не было? – подозрительно косится на меня Мигель. – Ты давай, без этого!

Сам же рассказывал, что от деда досталась, типа, покрасить еще надо...

Чувствую, как мои ноги подкашиваются, и потому прислоняюсь спиной к стене:

– Ага. Рассказывал. А лодки – нету.

– Ты что, наврал?

Интересный вопрос от убийцы.

– Наврал.

– А про родственника?! Тоже?

Я смотрю в его изумленные глаза – это на самом деле сейчас так важно?

– Вадик, если ты не идешь, то я уйду... – это Вероника, не выдержав ожидания, открывает дверь, щурится на свету, завернувшись в какую-то зеленую простыню и напялив на голову пластиковый веночек.

– Уходи, – соглашаюсь я.

Она разочарованно супит брови:

– Я, вообще-то, здесь ночевать не собиралась, а живу аж на Ближних Мельницах.

– И что?

– Вообще-то, мне сказали, что у тебя есть машина – и ты можешь меня подбросить.

В одну секунду Мигель складывается пополам. Он корчится, шумно ловя воздух ртом, топает ногами, разгибается и вновь нагибается, придерживая живот, словно оттуда неминуемо должны вывалиться все его разноцветные кишки, и лишь тогда взрывается надсадным смехом.

– Не понимаю, – Вероника растерянно глядит то на него, то на меня и неосознанно поправляет волосы, выставляя на обозрение тайную свою мысль: а вдруг над ней?

– Нету, нету! У него! Машины! – всхлипывая, содрогается Мигель. – Ни лодки! Ни машины! – ему тяжело говорить, он машет рукой, затем тычет пальцем в моем направлении. – Выходит тебя тоже, а?.. Вадим, тебя тоже! Надули! Никому не нужен...

Его щеки горят, он захлебывается в собственном смехе, который становится всё громче и всё более судорожным, и вот Мигель резко затихает с диким блеском в глазах, губы искривляются загогулиной – и, пошатнувшись в последний раз, он, обессиленный, падает на девушку. Он обхватывает Веронику за шею и талию и начинает горько рыдать у нее на плече, а она, откинув голову слегка назад, ошарашенно разводит руками и всем своим видом дает понять, что уже готова сама добраться пешком до Ближних Мельниц.

– Прекратите вы, немедленно прекратите! – раздается за стенкой женский визг, затем глухой удар, видимо, кинутого тапка – и уже нараспев: «Раз-раз, про тебя идет рассказ». Как ни странно, именно это выводит меня из оцепенения:

– Мы маму разбудили, – с этими словами я проворно заталкиваю парочку в каморку, автоматически протягиваю руку к чемодану и вовремя одергиваю – как он в принципе умудрился ее туда утрамбовать? нет, не задумывайся, прочь отсюда!

Тем временем Вероника, отступая назад, не удержавшись, опускается со своей ношей прямо на гору одежды туда, где нам только что было так хорошо вдвоем. Причем Мигель всё еще держится за постороннюю ему девушку, плечи колышутся, сучит ногой по полу, и пятно от его слез медленно расплзается на ее зеленой драпировке.

– Тебя что, бросили? – пытается разобраться Вероника. – Брошенка, да? Ну, ничего, бывает. Они, знаешь, иногда возвращаются, она еще...

Не думаю, что Мигеля утешит мысль, что полька еще может *вернуться*, но с какой-то мстительностью машу рукой, мол, потерпи, это ненадолго. После чего отворачиваюсь к окну. Стискивая виски, выдавливая разрастающуюся головную боль – у-билл-я-билл-ты-сказалл-а-я-убилл – я как сомнамбула переступаю опрокинутый стул и минуя зингеровскую машинку, из последних сил облакачиваюсь на подоконник, где рассыпи пуговиц и дохлых мух. Я так радовался днем, когда Мигель поверил в забавную историю о родственнике-женоубийце, и вот моя фантазия ожила и обратилась в правду – разве ты не об этом мечтал, доктор Франкенштейн? И с каждой секундой мое положение всё хуже, я становлюсь клеветником, подстрекателем, соучастником...

Главное: не рухнуть на пол, не завертеться как волчок и не заверещать во всю глотку, признаваясь во всех грехах и умоляя не оставлять меня одного, – именно этого я боялся больше всего до сих пор. А сейчас мне нужно протрезветь, что-то придумать, найти решение, но ведь мне даже взгляд не удастся сосредоточить – хотя бы на том, что скрывается за стеклом, всё тускнеет, плывет, как будто не я выглядываю наружу, а ночь, воспользовавшись отверстием в стене, бесстыдно глазеет на меня, ага, так вот он какой. В отражении из-за моего правого плеча выглядывает желтый прямоугольник коридора с краешком любопытствующего чемодана; за левым же плечом маячит силуэт двоих, они, как зыбкие облака ила в озере, принимают довольно прихотливые очертания, вздымаются, опадают, всхлипывания стихают, сменяются покашливаниями, девушка вроде бы целует молодого человека в макушку, он приподнимается и прикладывает палец к губам – или мне это всего лишь чудится? странный фокус с зеркалами? Тени множатся, дрожат, дребезжат, не дают рассмотреть собственное лицо, – и вовсе не Кука, а я чувствую себя нагим и захваченным врасплох... Ах да, Кука, до меня медленно доходит, что всё же вижу его, как он, совершенно голый, взбирается во дворе на дуб, сверкая в лунном свете ягодицами, и, оказавшись на одной из верхних веток, что-то кричит и начинает испражняться на собравшихся под деревом и теперь уже с воплями разбегающихся – я должен быть там, вместе с ними! Схватить что-нибудь в руки, вот ножницы, например, распахнуть ставни и звать на помощь? А что если... а вдруг дверной проем наполнится хищными лицами, среди которых Арсений в костюме Иосифа Виссарионовича, он вынет трубку изо рта и усмехнется в накладные усы: «Убийца? Здесь? Да что ты говоришь...»

Вот катарсис! вот момент истины! ну да, разумеется, как я сразу не догадался: *они меня раскусили!* Всё это время, со своими надуманными монологами про кровь-любовь, Мигель издевался надо мной, зло пародировал мою же игру! Да и вся вечеринка с ее

драками и пьяными поцелуями – не более чем грандиозный флешмоб, спектакль, ловушка для лжеца! В новом свете каждая деталь приобретает совсем иное значение: неумелые танцы, значительные взгляды, деревянная кукла как недвусмысленный намек... Сговорились, всё продумали и расписали по ролям, ввали, ввали мне! как это низко, как это подло и глупо! – и то, как они слушали мои милые небылицы, умирая про себя со смеху, и как завлекли в каморку, взяв в расчет мое объявление, и как нельзя кстати прервали, и времени не пожалели, снабдив даже маму за стеной несколькими репликами, и весь этот кавардак в моей душе, и этот трагикомический дуэт за спиной не более чем рефрен другой композиции, представленной не так давно там, внизу, при том что – ну, конечно же! – Мигель и Вероника наверняка тоже пара, по уши в первой влюбленности, а статистка польского происхождения ждет сигнала, чтобы выпрыгнуть из чемодана в расшитом блестками платье. И из омута памяти сразу всплывает беседа о Хармсе – вот и отсылка к способу транспортировки покойниц! ай да молодцы! – недели две назад – как?! уже тогда? знали, предвкушали, готовились? или еще раньше, потому что, быть может, даже Арсения вовсе не случайно зовут Арсением – *судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке...*

Что ж, посмотрим, кто кого, – хочу обернуться, чтобы подмигнуть им, расхохотаться в лицо, мол, карты на стол, я всё знаю, и больше вы мне ничего не сделаете! Но что-то помешало, неприятно хрустнуло в шее, не получилось, так что, поддавшись вперед, упираюсь горячим лбом в холодное стекло, чтобы не упасть, и понимаю, что еще немного и я соглашусь на отведенную роль, покорно, невозмутимо, раз уж это всё равно настолько очевидная ложь (и машину найдем, чтобы Веронику домой доставить, и лодку организуем, чтобы в море выйти, до грозы бы успеть) – лишь бы не ошибиться, не открывать, не знать, не видеть содержимого! Пусть уж лучше я проиграю, чем приобрету подобное воспоминание – и буду вынужден до конца жизни в интимный час перед сном видеть мятую рубашку в крови, перекошенный рот и что-нибудь еще из жуткого репертуара смерти... Ведь рано или поздно они сдадутся и признают затянувшийся финал, а если игра всё же не закончится и черные волны, коротко глотнув, примут жертву, то буду молчать, играть по новым правилам, брошу университет и пойду в армию, или нет, перебор, просто уеду к знакомым в Германию, сбегу отсюда, зажмурив глаза навсегда...

Да, так и поступлю, так и будет, всё сложится – и под шум успокаивающих мыслей, прежде чем мы двинемся в путь, меня озаряет последней догадкой: а не заигрался ли я? Не овладело ли мной порождение моего же разума? Достиг в своей игре той чистой и блистательной вершины, когда удалось обмануть самого себя, заблудившись в лабиринте из собственных конструкций, забыв, что, на самом-то деле, я по-прежнему скучаю в компании трех чудаковатых старушек, неспешно плетущих нить разговора, – и одна из них, как раз в этот момент, недовольным цоканьем языка приветствует наконец-то подбежавшего официанта, а он, прыщавый, повергнутый в безмолвный ужас мальчик, всё торопится, расставляет тарелки с подноса и, жалко улыбаясь, пятится обратно к кухне.

– Да несомненно он мне его напомнил, – замечает одна. – Здесь сквозит, вы не находите?

– Кого, милочка? – раздраженно спрашивает другая; она поглядывает в меню и что-то сосредоточенно подсчитывает в уме.

– Твоего покойного мужа – Лёву. Ах, прости...

– Да ну что ты! И вечно ты всё путаешь. Лёва, я же отлично... всегда был такой... совсем другой, совсем.

– Да ты на нос, на нос посмотри!

– Нос?! А что – нос? Так и знала, вечно ты так: в кои-то веки выбрались, а ты опять, просто назло мне – ну, зачем, скажи? Зачем?

– Да на что ты намекаешь?!

– Ах, тише, милые, угомонитесь и глядите: кажется, кавалер наш пытается что-то сказать.